В. В. Маяковский





ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

В.В.Маяковский

Я-ГРАЖДАНИН СОВЕТСКОГО СОЮЗА

СТИХИ

Москва «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1981

Составление, предисловие,
примечания С. Коваленко



Обложка и титул
А. Мухиной

Маяковский В. В.

М39 Я — гражданин Советского Союза: Стихотворения / Составл., предисл., примеч. С. Коваленко.— М.: Дет. лит., 1981.— 64 с., ил.— (Школьная б-ка).
10 к.

В сборник входят избранные стихотворения поэта, написанные им в разные годы и посвященные новому быту, становлению новых отношений в советском обществе, а также вопросам любви, верности революционным традициям.

М $\frac{70803-333}{М101(03)81}$ 148—81 Р 2

«Я — ГРАЖДАНИН СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

«Стихи о советском паспорте» знакомы нам с детства. Они получили широкую и повсеместную известность, приобрели значение поэтического завещания Маяковского, лирической декларации прав советского человека.

Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин
Советского Союза,—

обращается поэт к современникам и потомкам, откровенно гордясь тем, что в руках у него «молоткастый, серпастый советский паспорт».

Гордость советским гражданством Владимир Владимирович Маяковский пронес через всю свою жизнь и передал новым поколениям. Стихи были написаны в 1929 году после возвращения из последней поездки Маяковского в Париж. Однако сама идея стихотворения и выраженное в нем чувство советского самосознания росли и крепли в сердце поэта год от года, выверялись его зарубежными поездками и каждой новой встречей с Родиной.

Поэт много ездил, был в гуще событий и фактов стремительно развивающегося времени. В Москве, в Государственном музее Маяковского, экспонируется диаграмма его поездок по Советскому Союзу, с прочерченными маршрутами выступлений. Блистательный оратор и полемист, он охотно выступал перед массовыми аудиториями, осуществляя необходимые для его работы контакты с читателями. «Мне необходимо ездить»,— признавался он в очерках «Мое открытие Америки». И свои поездки за рубеж рассматривал как продолжение той же работы писателя и гражданина.

«Я земной шар чуть не весь обошел»,— сказал Маяковский в поэме «Хорошо!», написанной к десятилетнему юбилею Октября. И это не только характерная для его стиля поэтическая гипербола, но и конкретно-историческая реальность. В 1922 г. Маяковский впервые выехал за границу. Он несколько раз был в Берлине, Польше, Чехословакии, нежно любил Париж, побывал в Мексике, на Кубе, дружил с поэтами и художниками этих стран.

Летом 1925 г. поэт приехал в Америку, около месяца прожил в ее крупнейших городах Нью-Йорке и Вашингтоне. Его, как бы мы сегодня сказали, убежденного сторонника научно-технической рево-

люции, понимавшего, что подлинное возрождение Советской России возможно лишь на прочной промышленной базе, впечатлила индустриальная мощь Америки. У нас еще не было Днепрогэса, не было Магнитки и Кузнецкстроя. В русских деревнях пока как на чудо смотрели на электрические лампы, любовно называя их «лампочками Ильича».

Бруклинский мост, как одно из чудес современной цивилизации, стал для советского поэта той высотой, тем критерием, с которыми он подошел к оценке социальных контрастов Америки и ее нравственного климата. С бруклинской высоты она раскрылась поэту как гигантский «небоскреб в разрезе», а духовное убожество нью-йоркских обывателей напомнило дооктябрьскую российскую провинцию — «Елец аль Конотоп»:

Я смотрю,
и злость меня берет
на укрывшихся
за каменный фасад.
Я стремился
за 7000 верст вперед,
а приехал
на 7 лет назад.

В Америке Маяковский остро ощутил силу духовного возрождения, которое переживала его страна после победы Октябрьской революции. Отдав должное техническому прогрессу, он весьма критически воспринял американский образ жизни и бросил свой «вызов» буржуазной Америке. «Я полпред стиха, и я с моей страною вашим штатишкам бросаю вызов»,— заявил он, противопоставив двухкилометровому Бруклинскому мосту, олицетворению индустриальной мощи, «мост в будущее длиною во сто лет», переброшенный его страной «прямо к коммунизму». Как видим, Маяковский оказался не только «полпредом стиха», но и подлинным полпредом своей страны, провозгласив принцип мирного сосуществования и соревнования, о результатах которого мы можем судить сегодня, соперничая с Америкой в области технического прогресса и опережая ее в области социального прогресса, науки, культуры, покорения космоса.

В «Бродвее», как бы выражающем прямодушный восторг человека, ошарашенного россыпью электрических огней, появляется строка, ставшая крылатой, которую можно поставить эпиграфом ко всем стихам, написанным под впечатлением зарубежных поездок Маяковского: «У советских собственная гордость: на буржуев смотрим свысока».

О чем бы ни писал Маяковский, содержанием его поэзии была жизнь во всем многообразии проявлений, с солнечным светом и теневыми сторонами (по его утверждению, нет тем «поэтических» и «непоэтических»), поэт писал и размышлял с позиций «собственной гордости» советского человека, ощущая за собой стопятидесятимиллионный народ — таким было народонаселение нашей страны во времена Маяковского.

Маяковский мыслил широкими нравственно-этическими катего-

риями и был убежденным поэтом-интернационалистом. Его поэзия общечеловечна в своем гуманистическом пафосе, в утверждении прекрасного и свободного человека, каким ему должно быть. Но общечеловеческое и интернациональное — не вневременные абстрактные понятия, они рождаются на родине человека. Родиной Маяковского было первое в мире государство трудящихся. «Весной человечества», «молодостью мира», «страной-подростком» называл поэт свою юную Родину. Он жил в исторический период, когда еще лишь складывались социалистические нации.

Декабрь 1922 г. вошел в нашу историю как год образования Союза Советских Социалистических Республик. Это был важный этап на пути к расцвету социалистических наций, формирования в них национального и общечеловеческого. Закладывались не только экономические, социальные, но и нравственные основы исторической общности — советский народ. Маяковский понимал, что в его многонациональном государстве возрождение наций и их дальнейший рост происходят во взаимодействии с русской культурой. Его размышления о национальном и общесоветском, о роли каждого национального языка в многоязыкой семье народов СССР и об особом значении русского, на котором «разговаривал Ленин», нашли отражение в стихах «Казань» и «Нашему юношеству». В один из приездов Маяковского в Казань к нему в гостиницу «Казанское подворье» пришли молодые поэты со своими переводами «Левого марша» на татарский, чувашский, марийский языки. Это были первые переводы на языки народов СССР знаменитого стихотворения Маяковского, обращенного к революционным матросам и стремительно облетевшего весь мир.

Поэт-романтик, страстно мечтавший о вселенском братстве, Маяковский был великим поэтом русского народа, великолепно чувствовал заложенные в русском языке лексические и интонационные богатства и много сделал для его развития и образного обогащения. Но, прославляя братство и равноправие народов Советского Союза, Маяковский хотел, чтобы «товарищи юноши» не забывали о том, что ему самому было известно как свидетелю и очевидцу: «Когда Октябрь орудийных бурь по улицам кровью лился, я знаю, в Москве решали судьбу и Киевов и Тифлисов». Патриот своей страны, он был широк и объективен в оценках истории и современности, призывал молодежь учиться так же видеть и оценивать события:

Смотрите на жизнь
                                        без очков и шор,
глазами жадными цапайте
все то,
        что у вашей земли хорошо
и что хорошо на Западе.

Читая Маяковского, видишь, как от года к году развивался и обогащался в его поэзии образ Родины — России. Молодая Советская Республика предстает государством многонациональным, богатым своим историческим прошлым. «Красный цвет моих республик» — назвал он то главное, что, по его убеждению, определяет нравственную сторону любого поступка, каждого движения души,

как в сфере социальной, так и личной, интимной. «Я не сам, а я ревную за Советскую Россию»,— скажет он в «Письме Татьяне Яковлевой», любимой женщине, уехавшей в Париж и не захотевшей вернуться на родину.

Это чувство советского достоинства, советской гордости, столь развитое у Маяковского, было следствием его удивительного слияния с революцией. «Революцией мобилизованный и призванный»,— сказал он о себе. Поэт огромного лирического дарования, он добровольно взял на свои плечи «чернорабочий» литературный подвиг поэта-газетчика и художника-плакатиста. Блистательными образцами газетно-публицистического жанра, разработанного Маяковским, стали публикуемые в этой книге стихи «О дряни» и «Прозаседавшиеся». Своевременность последнего была отмечена В. И. Лениным, что утвердило Маяковского в правильности избранного им пути политического поэта, как он себя называл.

Высмеивая «вдрызг» бюрократов, подхалимов, взяточников, новоявленных «помпадуров» и «совмещан», он боролся за утверждение своего «краснофлагого строя», за новые отношения в сфере социальной, профессиональной, нравственной.

О трудном счастье поэта, участника повседневной, будничной борьбы за социализм, Маяковский рассказал в поэме «Во весь голос», написанной в связи с его отчетной выставкой «Двадцать лет работы». Драматичен образ поэта, понимавшего, что не всем из его стихов, написанных на злобу дня, суждено бессмертие, многие умрут, но умрут как рядовые на фронтах революции. Лирик и романтик, он, по его признанию, «сам себя смирял, становясь на горло собственной песне», вытесняя из своей поэзии романсовые ноты и интимную лирику. «Письмо Татьяне Яковлевой» позволяет судить о силе этой вытесняемой им «песни» (он не опубликовал этого стихотворения).

Стихи В. В. Маяковского — драгоценный поэтический документ эпохи, запечатлевший возникновение новых отношений, удивительное взаимопроникновение личного и общего в человеческом сердце. По масштабам мышления, по силе чувств он был человеком грядущего. Не случайно тема будущего занимает в его творчестве такое большое и важное место.

С. Коваленко

СТИХИ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ

Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту...
По длинному фронту
купе
и кают
чиновник
учтивый
движется.
Сдают паспорта,
и я
сдаю
мою
пурпурную книжицу.
К одним паспортам —
улыбка у рта.
К другим —
отношение плевое.
С почтеньем
берут, например,
паспорта
с двухспальным
английским левою[1].
Глазами
доброго дядю выев,
не переставая
кланяться,
берут,
как будто берут чаевые,
паспорт
американца.
На польский —
глядят,
как в афишу коза.

[1] Объяснение трудных слов см. в Примечаниях, с. 61—63.

На польский —
выпяливают глаза
в тугой
полицейской слоновости —
откуда, мол,
и что это за
географические новости?
И не повернув
головы кочан
и чувств
никаких
не изведав,
берут,
не моргнув,
паспорта датчан
и разных
прочих
шведов.
И вдруг,
как будто
ожогом,
рот
скривило
господину.
Это
господин чиновник
берет
мою
краснокожую паспортину.
Берет —
как бомбу,
берет —
как ежа,
как бритву
обоюдоострую,
берет,
как гремучую
в 20 жал
змею
двухметроворостую.
Моргнул
многозначаще
глаз носильщика,
хоть вещи
снесет задаром вам.

Жандарм
вопросительно
смотрит на сыщика,
сыщик
на жандарма.
С каким наслажденьем
жандармской кастой
я был бы
исхлестан и распят
за то,
что в руках у меня
молоткастый,
серпастый
советский паспорт.
Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Но эту...
Я достаю
из широких штанин
дубликатом
бесценного груза.
Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин
Советского Союза.

1929

●

ЛЕВЫЙ МАРШ

(МАТРОСАМ)

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!

Эй, синеблузые!
Рейте!
За океаны!
Или
у броненосцев на рейде
ступлены острые кили?!
Пусть,
оскалясь короной,
вздымает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной.
Левой!
Левой!
Левой!

Там
за горами гóря
солнечный край непочатый.
За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!
Пусть бандой окружат нáнятой,
стальной изливаются лéевой,—
России не быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!

Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем пялиться?
Крепи
у мира на горле
пролетариата пальцы!
Грудью вперед бравой!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

1918

●

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ

(Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева,
27 верст по Ярославской жел. дор.)

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить
вставало солнце áло.
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.
И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шляться в пекло!»
Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут — не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»

Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведя,
заговорило басом:
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чай гони,
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»
Черт дернул дерзости мои
орать ему,—
сконфужен,
я сел на уголок скамьи,
боюсь — не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась,—
и степенность
забыв,

сижу, разговорясь
с светилом постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
— Поди, попробуй! —
А вот идешь —
взялось идти,
идешь — и светишь в оба!»
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоясь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты — свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг — я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.

Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

1920

●

О ДРЯНИ

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим
о дряни.

Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.

(Меня не поймаете на слове,
я вовсе не против мещанского сословия.
Мещанам
без различия классов и сословий
мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они,
наскоро оперенья переменив,
и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне —
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спаленки.

И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:

«Товарищ Надя!
К празднику прибавка —
24 тыщи.
Тариф.
Эх,
и заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать,
как коралловый риф!»
А Надя:
«И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня
буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?!»
На стенке Маркс.
Рамочка áла.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из-под потолочка
верещала
оголтелая канаренца.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...
И вдруг
разинул рот,
да как заорет:
«Опутали революцию обывательщины нити.
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»

1920—1921

●

ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.

Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени о́на».—
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
объединение Тео и Гукона».

Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели прийти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».

Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет —
го́ло!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на́ ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,

дикие проклятья дорогой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, ор́я.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».

С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»

1922

●

ВЛАДИКАВКАЗ — ТИФЛИС

Только
нога
ступила в Кавказ,
я вспомнил,
что я —
грузин.
Эльбрус,
Казбек.
И еще —
как вас?!
На гору
горы грузи!
Уже
на мне
никаких рубах.
Бродягой,—
один архалух.
Уже
подо мной
такой карабах,
что Ройльсу —
и то б в похвалу.
Было:
с ордой,
загорел и носат,
старее
всего старья,
я влез,
веков девятнадцать назад,
вот в этот самый
в Дарьял.
Лезгинщик
и гитарист душой,
в многовековом поту,
я землю
прошел
и возделал мушóй
отсюда
по самый Батум.
От этих дел
не вспомнят ни зги.
История —
врун даровитый

бубнит лишь,
что были
царьки да князьки:
Ираклии,
Нины,
Давиды.
Стена —
и то
знакомая что-то.
В тахтах
вот этой вот башни —
я помню:
я вел
Руставели, Шо́той
с царицей
с Тамарою
шашни.
А после
катился,
костями хрустя,
чтоб в пену
Тереку врыться.
Да это что!
Любовный пустяк!
И лучше
резвилась царица.
А дальше
я видел —
в пробоину скал
вот с этих
тропиночек узких
на сакли,
звеня,
опускались войска
золотопогонников русских.
Лениво
от жизни
взбираясь ввысь,
гитарой
душу отверз —
«Мхолот шен эртс
рац, ром чемтвис
Моуция
маглидган гмертс...»[1]

---

[1] «Лишь тебе одной всё. что дано мне с высоты богом» *(груз.)*.

И утро свободы
в кровавой росе
сегодня
встает поодаль.
И вот
я мечу,
я, мститель Арсен,
бомбы
5-го года.
Живились
в пажах
князёвы сынки,
а я
ежедневно
и наново
опять вспоминаю
все синяки
от плеток
всех Алихановых.
И дальше
история наша
хмура.
Я вижу
правящих кучку.
Какие-то люди,
мутней, чем Курá,
французов чмокают в ручку.
Двадцать,
а может,
больше веков
волок
угнетателей узы я,
чтоб только
под знаменем большевиков
воскресла
свободная Грузия.
Да,
я грузин,
но не старенькой нации,
забитой
в ущелье в это.
Я —
равный товарищ
одной Федерации
грядущего мира Советов.

Еще
омрачается
день иной
ужасом
крови и яри.
Мы бродим,
мы
еще
не вино,
ведь мы еще
только мадча́ри.

Я знаю:
глупость — эдемы и рай!
Но если
пелось про это,
должно быть,
Грузию,
радостный край,
подразумевали поэты.
Я жду, чтоб а́эро
в горы взвились.

Как женщина,
мною
лелеема
надежда,
что в хвост
со словом «Тифлис»
вобьем
фабричные клейма.

Грузин я,
но не кинто́ озорной,
острящий
и пьющий после.
Я жду,
чтоб гудки
взревели зурной,
где шли
лишь кинто
да ослик.
Я чту
поэтов грузинских дар,
но ближе
всех песен в мире,

мне ближе
всех
и зурн
и гитар
лебедок
и кранов шаири.
Строй
во всю трудовую прыть,
для стройки
не жаль ломаний!
Если
даже
Казбек помешает —
срыть!
Все равно
не видать
в тумане.

1924

●

ПРОЩАНЬЕ

В авто,
последний франк разменяв.
— В котором часу на Марсель? —
Париж
бежит,
провожая меня,
во всей
невозможной красе.
Подступай
к глазам,
разлуки жижа,
сердце
мне
сантиментальностью расквась!
Я хотел бы
жить
и умереть в Париже,
если б не было
такой земли —
Москва.

1925

●

БРОДВЕЙ

Асфальт — стекло.
Иду и звеню.
Леса и травинки —
сбриты.
На север
с юга
идут авеню,
на запад с востока —
стриты.
А между —
(куда их строитель завез!) —
дома
невозможной длины.
Одни дома
длиною до звезд,
другие —
длиной до луны.
Янки
подошвами шлепать
ленив:
простой
и курьерский лифт.
В 7 часов
человечий прилив,
в 17 часов —
отлив.
Скрежещет механика,
звон и гам,
а люди
немые в звоне.
И лишь замедляют
жевать чуингам,
чтоб бросить:
«Мек мóней?»
Мамаша
грудь
ребенку дала.
Ребенок,
с каплями и́з носу,
сосет
как будто
не грудь, а доллáр —

занят
серьезным
бизнесом.
Работа окончена.
Тело обвей
в сплошной
электрический ветер.
Хочешь под землю —
бери собвей,
на небо —
бери элевейтер.
Вагоны
едут
и дымам под рост,
и в пятках
домовьих
трутся,
и вынесут
хвост
на Бруклинский мост,
и спрячут
в норы
под Гу́дзон.
Тебя ослепило,
ты
осовел.
Но,
как барабанная дробь,
из тьмы
по темени:
«Кофе Максве́л
гуд
ту ди ласт дроп».
А лампы
как станут
ночь копать,
ну, я доложу вам —
пламечко!
Налево посмотришь —
мамочка мать!
Направо —
мать моя мамочка!
Есть что поглядеть московской братве.
И за день
в конец не дойдут.

Это Нью-Йорк.
Это Бродвей.
Гау ду ю ду!
Я в восторге
от Нью-Йорка города.
Но
кепчонку
не сдерну с виска.
У советских
собственная гордость:
на буржуев
смотрим свысока.

6 августа — Нью-Йорк
1925

БРУКЛИНСКИЙ МОСТ

Издай, Кули́дж,
радостный клич!
На хорошее
и мне не жалко слов.
От похвал
красней,
как флага нашего мате́рийка,
хоть вы
и разъюнайтед стетс
оф
Америка.
Как в церковь
идет
помешавшийся верующий,
как в скит
удаляется,
строг и прост,—
так я
в вечерней
сереющей ме́рещи
вхожу,
смиренный, на Бру́клинский мост.
Как в город
в сломанный
прет победитель
на пушках — жерлом
жирафу под рост —
так, пьяный славой,
так жить в аппетите,
влезаю,
гордый,
на Бруклинский мост.
Как глупый художник
в мадонну музея
вонзает глаз свой,
влюблен и остр,
так я,
с поднебесья,
в звезды усеян,
смотрю
на Нью-Йорк
сквозь Бруклинский мост.

Нью-Йорк
до вечера тяжек
и душен,
забыл,
что тяжко ему
и высóко,
и только одни
домовьи души
встают
в прозрачном свечении óкон.
Здесь
еле зудит
элевейтеров зуд.
И только
по этому
тихому зуду
поймешь —
поездá
с дребезжаньем ползут,
как будто
в буфет убирают посуду.
Когда ж,
казалось, с-под речки нáчатой
развозит
с фабрики
сахар лавочник,—
то
под мостом проходящие мачты
размером
не больше размеров булавочных.
Я горд
вот этой
стальною милей,
живьем в ней
мои видения встали —
борьба
за конструкции
вместо стилей,
расчет суровый
гаек
и стали.
Если
придет
окончание света —

планету
хаос
разделает в лоск,
и только
один останется
этот
над пылью гибели вздыбленный мост,
то,
как из косточек,
тоньше иголок,
тучнеют
в музеях стоя́щие
ящеры,
так
с этим мостом
столетий геолог
сумел
воссоздать бы
дни настоящие.
Он скажет:
— Вот эта
стальная лапа
соединяла
моря и прерии,
отсюда
Европа
рвалась на Запад,
пустив
по ветру
индейские перья.
Напомнит
машину
ребро вот это —
сообразите,
хватит рук ли,
чтоб, став
стальной ногой
на Манге́тен,
к себе
за губу
притягивать Бру́клин?
По проводам
электрической пряди —
я знаю —
эпоха
после пара —

здесь
люди
уже
орали по радио,
здесь
люди
уже
взлетали по аэро.
Здесь
жизнь
была
одним — беззаботная,
другим —
голодный
протяжный вой.
Отсюда
безработные
в Гудзон
кидались
вниз головой.
И дальше
картина моя
без загвоздки
по струнам-канатам,
аж звездам к ногам.
Я вижу —
здесь
стоял Маяковский,
стоял
и стихи слагал по слогам.—
Смотрю,
как в поезд глядит эскимос,
впиваюсь,
как в ухо впивается клещ.
Бру́клинский мост —
да...
Это вещь!

1925

●

ДОМОЙ!

Уходите, мысли, восвояси.
Обнимись,
души и моря глубь.
Тот,
кто постоянно ясен —
тот,
по-моему,
просто глуп.
Я в худшей каюте
из всех кают —
всю ночь надо мною
ногами куют.
Всю ночь,
покой потолка возмутив,
несется танец,
стонет мотив:
«Маркита,
Маркита,
Маркита моя,
зачем ты,
Маркита,
не любишь меня...»
А зачем
любить меня Марките?!
У меня
и франков даже нет.
А Маркиту
(толечко моргните!)
за сто франков
препроводят в кабинет.
Небольшие деньги —
поживи для шику —
нет,
интеллигент,
взбивая грязь вихров,
будешь всучивать ей
швейную машинку,
по стежкам
строчащую
шелка стихов.
Пролетарии
приходят к коммунизму
низом —

низом шахт,
серпов
и вил,—
я ж
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви.

Все равно —
сослался сам я
или послан к маме —
слов ржавеет сталь,
чернеет баса медь.
Почему
под иностранными дождями
вымокать мне,
гнить мне
и ржаветь?

Вот лежу,
уехавший за воды
ленью
еле двигаю
моей машины части.
Я себя
советским чувствую
заводом,
вырабатывающим счастье.
Не хочу,
чтоб меня, как цветочек с полян,
рвали
после служебных тягот.

Я хочу,
чтоб в дебатах
потел Госплан,
мне давая
задания нá год.
Я хочу,
чтоб над мыслью
времен комиссар
с приказанием нависал.
Я хочу,
чтоб сверхставками спéца
получало
любовищу сердце.

Я хочу,
чтоб в конце работы
завком
запирал мои губы
замком.
Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.
С чугуном чтоб
и с выделкой стали
о работе стихов,
от Политбюро,
чтобы делал
доклады Сталин.
«Так, мол,
и так...
И до самых верхов
прошли
из рабочих нор мы:
в Союзе
Республик
пониманье стихов
выше
довоенной нормы...»

1925

●

ТОВАРИЩУ НЕТТЕ —
ПАРОХОДУ И ЧЕЛОВЕКУ

Я недаром вздрогнул.
Не загробный вздор.
В порт,
горящий,
как расплавленное лето,
разворачивался
и входил
товарищ «Теодор
Нетте».
Это — он.
Я узнаю его.
В блюдечках-очках спасательных кругов.
— Здравствуй, Нетте!
Как я рад, что ты живой
дымной жизнью труб,
канатов
и крюков.
Подойди сюда!
Тебе не мелко?
От Батума,
чай, котлами покипел...
Помнишь, Нетте,—
в бытность человеком
ты пивал чаи
со мною в дипкупе?
Медлил ты.
Захрапывали сони.
Глаз
кося
в печати сургуча,
напролет
болтал о Ромке Якобсоне
и смешно потел,
стихи уча.
Засыпал к утру.
Курок
аж палец свел...
Суньтеся —
кому охота!

Думал ли,
что через год всего
встречусь я
с тобою —
с пароходом.
За кормой лунища.
Ну и здóрово!
Залегла,
просторы нáдвое порвав.
Будто нáвек
за собой
из битвы коридоровой
тянешь след героя,
светел и кровав.
В коммунизм из книжки
верят средне.
«Мало ли,
что можно
в книжке намолоть!»
А такое —
оживит внезапно «бредни»
и покажет
коммунизма
естество и плоть.
Мы живем,
зажатые
железной клятвой.
За нее —
на крест,
и пулею чешите:
это —
чтобы в мире
без Россий,
без Латвий,
жить единым
человечьим общежитьем.
В наших жилах —
кровь, а не водица.
Мы идем
сквозь револьверный лай,
чтобы,
умирая,
воплотиться
в пароходы,
в строчки
и в другие долгие дела.

———

◆

Мне бы жить и жить,
                  сквозь годы мчась.
Но в конце хочу —
                  других желаний нету —
встретить я хочу
                  мой смертный час
так,
    как встретил смерть
                  товарищ Нетте.

15 июля, Ялта
1926 г.

●

НАШЕМУ ЮНОШЕСТВУ

На сотни эстрад бросает меня,
на тысячу глаз молодежи.
Как разны земли моей племена,
и разен язык
              и одёжи!
Насилу,
        пот стирая с виска,
сквозь горло тоннеля узкого
пролез.
       И, глуша прощаньем свистка,
рванулся
         курьерский
                    с Курского!
Заводы.
        Березы от леса до хат
бегут,
      листками вороча,
и чист,
       как будто слушаешь МХАТ,
московский говорочек.
Из-за горизонтов,
                 лесами сломанных,
толпа надвигается
                  мазанок.
Цветисты бочка́
               из-под крыш соломенных,
окрашенные разно.
Стихов навезите целый мешок,
с таланта
         можете лопаться —
в ответ
       снисходительно цедят смешок
уста
    украинца хлопца.
Пространства бегут,
                   с хвоста нарастав,
их жарит
        солнце-кухарка.
И поезд
       уже
          бежит на Ростов,
далёко за дымный Харьков.
Поля —
       на мильоны хлебных тонн —

как будто
их гладят рубанки,
а в хлебной охре
серебряный Дон
блестит
позументом кубанки.
Ревем паровозом до хрипоты,
и вот
началось кавказское —
то го́ловы сахара высят хребты,
то в солнце —
пожарной каскою.
Лечу
ущельями, свист приглушив.
Снегов и папах седи́ны.
Сжимая кинжалы, стоят ингуши,
следят
из седла
осетины.
Верх
гор —
лед,
низ
жар
пьет,
и солнце льет йод.
Тифлисцев
узнаешь и метров за сто:
гуляют часами жаркими,
в моднейших шляпах,
в ботинках носастых,
этакими парижа́ками.
По-своему
всякий
зубрит азы́,
аж цифры по-своему снятся им.
У каждого третьего —
свой язык
и собственная нация.
Однажды,
забросив в гостиницу хлам,
забыл,
где я ночую.
Я
адрес
по-русски
спросил у хохла,

хохол отвечал:
— Нэ чую.—
Когда ж переходят
к научной теме,
им
рамки русского
ýзки;
с Тифлисской
Казанская академия
переписывается по-французски.
И я
Парнж люблю сверх мер
(красивы бульвары ночью!).
Ну, мало ли что —
Бодлер,
Маларме
и эдакое прочее!
Но нам ли,
шагавшим в огне и воде
годами
борьбой прожженными,
растить
на смену себе
бульвардье
французистыми пижонами!
Используй,
кто был безъязык и гол,
свободу Советской власти.
Ищите свой корень
и свой глагол,
во тьму филологии влазьте.
Смотрите на жизнь
без очков и шор,
глазами жадными цапайте
все то,
что у вашей земли хорошо
и что хорошо иа Западе.
Но нету места
злобы мазку,
ие мажьте красные души!
Товарищи юноши,
взгляд — на Москву,
на русский вострите уши!
Да будь я
н негром преклонных годов,

и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил
только за то,
что им
разговаривал Ленин.
Когда
Октябрь орудийных бурь
по улицам
кровью лился,
я знаю,
в Москве решали судьбу
и Киевов
и Тифлисов.
Москва
для нас
не державный аркан,
ведущий земли за нами,
Москва
не как русскому мне дорога,
а как огневое знамя!
Три
разных истока
во мне
речевых.
Я
не из кацапов-разинь.
Я —
дедом казак,
другим —
сечевик,
а по рожденью
грузин.
Три
разных капли
в себе совмещав,
беру я
право вот это —
покрыть
всесоюзных совмещан.
И ваших
и русопетов.

1927

КАЗАНЬ

Стара,
коса
стоит
Казань.
Шумит
бурун:
«Шурум...
бурум...»
По-родному
тараторя,
снегом
лужи
намарав,
у подворья
в коридоре
люди
смотрят номера.
Кашляя
в рукав,
входит
робковат,
глаза таращит.
Приветствую товарища.

Я
в языках
не очень натаскан —
что норвежским,
что шведским мажь.
Входит татарин:
«Я
на татарском
вам
прочитаю
«Левый марш».
Входит второй.
Косой в скуле.
И говорит,
в карманах порыскав:
«Я —
мариец.
Твой
«Левый»
дай
тебе
прочту по-марийски».

Эти вышли.
Шедших этих
в низкой
двери
встретил третий.
«Марш
ваш —
наш марш.
Я —
чуваш,
послушай,
уважь,
Марш
вашинский
так по-чувашски...»

Как будто
годы
взял за чуб я —
— Станьте
и не пылите-ка! —
рукою
своею собственной
щупаю
бестелое слово
«политика».
Народы,
жившие
въямясь в нужду,
притершись
Уралу ко льду,
ворвались в дверь,
идя
на штурм,
на камень,
на крепость культур.
Крива,
коса
стоит
Казань.
Шумит
бурун:
«Шурум...
бурум...»

1928

РАССКАЗ ЛИТЕЙЩИКА ИВАНА КОЗЫРЕВА О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ

Я пролетарий.
Объясняться лишне.
Жил,
как мать произвела, родив.
И вот мне
квартиру
дает жилищный,
мой,
рабочий,
кооператив.
Во — ширина!
Высота — во!
Проветрена,
освещена
и согрета.
Все хорошо.
Но больше всего
мне
понравилось —
это:
это
белее лунного света,
удобней,
чем земля обетова́нная,
это —
да что говорить об этом,
это —
ванная.
Вода в кране —
холодная крайне.
Кран
другой
не тронешь рукой.
Можешь
холодной
мыть хохол,
горячей —
пот пор.

На кране
одном
написано:
«Хол.»,
на кране другом —
«Гор.».
Придешь усталый,
вешаться хочется.
Ни щи не радуют,
ни чая клокотанье.
А чайкой поплещешься —
и мертвый расхохочется
от этого
плещущего щекотания.
Как будто
пришел
к социализму в гости,
от удовольствия —
захватывает дых.
Брюки на крюк,
блузу на гвоздик,
мыло в руку
и...
бултых!
Сядешь
и моешься
долго, долго.
Словом,
сидишь,
пока охота.
Просто
в комнате
лето и Волга —
только что нету
рыб и пароходов.
Хоть грязь
на тебе
десятилетнего стажа,
с тебя
корою с дерева,
чуть не лыком,
сходит сажа,
смывается, стерва.
И уж распаришься,
разжаришься уж!

Тут —
вертай ручки:
и каплет
прохладный
дождик-душ
из дырчатой
железной тучки.
Ну уж и ласковость в этом душе!
Тебя
никакой
не возьмет упадок:
погладит волосы,
потреплет уши
и течет
по желобу
промежду лопаток.
Воду
стираешь
с мокрого тельца
полотенцем,
как зверь, мохнатым.
Чтобы суше пяткам —
пол
стелется,
извиняюсь за выражение,
пробковым матом.
Себя разглядевши
в зеркало вправленное,
в рубаху
в чистую —
влазь.
Влажу и думаю:
«Очень правильная
эта,
наша,
Советская власть».

Свердловск
28 января 1928 г.

●

ПИСЬМО ТОВАРИЩУ КОСТРОВУ ИЗ ПАРИЖА О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ

Простите
меня,
товарищ Костров,
с присущей
душевной ширью,
что часть
на Париж отпущенных строф
на лирику
я
растранжирю.
Представьте:
входит
красавица в зал,
в меха
и бусы оправленная.
Я
эту красавицу взял
и сказал:
— правильно сказал
нли неправнльно? —
Я, товарищ,—
из России,
знаменит в своей стране я,
я видал
девиц краснвей,
я видал
девиц стройнее.
Девушкам
поэты любы.
Я ж умен
н голосист,
заговариваю зубы —
только
слушать согласись.
Не поймать
меня
на дряни,
на прохожей
паре чувств.
Я ж
навек
любовью ранен —
еле-еле волочусь.

Мне
любовь
не свадьбой мерить:
разлюбила —
уплыла.
Мне, товарищ,
в высшей мере
наплевать
на купола.
Что ж в подробности вдаваться,
шутки бросьте-ка,
мне ж, красавица,
не двадцать,—
тридцать...
с хвостиком.
Любовь
не в том,
чтоб кипеть крутей,
не в том,
что жгут у́гольями,
а в том,
что встает за горами грудей
над
волосами-джунглями.
Любить —
это значит:
в глубь двора
вбежать
и до ночи грачьей,
блестя топором,
рубить дрова,
силой
своей
играючи.
Любить —
это с простынь,
бессонницей рваных,
срываться,
ревнуя к Копернику,
его,
а не мужа Марьи Иванны,
считая
своим
соперником.

Нам
любовь
не рай да кущи,
нам
любовь
гудит про то,
что опять
в работу пущен
сердца
выстывший мотор.
Вы
к Москве
порвали нить.
Годы —
расстояние.
Как бы
вам бы
объяснить
это состояние?
На земле
огней — до неба...
В синем небе
звезд —
до черта.
Если б я
поэтом не́ был,
я бы
стал бы
звездочетом.
Подымает площадь шум,
экипажи движутся,
я хожу,
стишки пишу
в записную книжицу.
Мчат
авто
по улице,
а не свалят на́земь,
Понимают
умницы:
человек —
в экстазе.
Сонм видений
и идей
полон
до крышки.

Тут бы
        и у медведей
выросли бы крылышки.
И вот
      с какой-то
                  грошовой столовой,
когда
      докипело это,
из зева
        до звезд
                  взвивается слово
золоторожденной кометой.
Распластан
          хвост
                небесам на треть,
блестит
        и горит оперенье его,
чтоб двум влюбленным
                    на звезды смотреть
из ихней
        беседки сиреневой.
Чтоб подымать,
              и вести,
                      и влечь,
которые глазом ослабли.
Чтоб вражьи
            головы
                  спиливать с плеч
хвостатой
          сияющей саблей.
Себя
    до последнего стука в груди,
как на свиданье,
                простаивая,
прислушиваюсь:
              любовь загудит —
человеческая,
              простая.
Ураган,
      огонь,
            вода
подступают в ропоте.
Кто
    сумеет
          совладать?
Можете?
        Попробуйте...

1928

ПИСЬМО ТАТЬЯНЕ ЯКОВЛЕВОЙ

В поцелуе рук ли,
губ ли,
в дрожи тела
близких мне
красный
цвет
моих республик
тоже
должен
пламенеть.
Я не люблю
парижскую любовь:
любую самочку
шелками разукрасьте,
потягиваясь, задремлю,
сказав —
тубо —
собакам
озверевшей страсти.
Ты одна мне
ростом вровень,
стань же рядом
с бровью брови,
дай
про этот
важный вечер
рассказать
по-человечьи.
Пять часов,
и с этих пор
стих
людей
дремучий бор,
вымер
город заселенный,
слышу лишь
свисточный спор
поездов до Барселоны.
В черном небе
молний поступь,

гром
ругнёй
в небесной драме,—
не гроза,
а это
просто
ревность
двигает горами.
Глупых слов
не верь сырью,
не пугайся
этой тряски,—
я взнуздаю,
я смирю
чувства
отпрысков дворянских.
Страсти корь
сойдет коростой,
но радость
неиссыхаемая,
буду долго,
буду просто
разговаривать стихами я.
Ревность,
жёны,
слезы...
ну их! —
вспухнут веки,
впору Вию.

Я не сам,
а я
ревную
за Советскую Россию.
Видел
на плечах заплаты,
их
чахотка
лижет вздохом.
Что же,
мы не виноваты —
ста мильонам
было плохо.
Мы
теперь
к таким нежны —

спортом
выпрямишь не многих,—
вы и нам
в Москве нужны,
не хватает
длинноногих.
Не тебе,
в снега
и в тиф
шедшей
этими ногами,
здесь
на ласки
выдать их
в ужины
с нефтяниками.
Ты не думай,
щурясь просто
из-под выпрямленных дуг.
Иди сюда,
иди на перекресток
моих больших
и неуклюжих рук.
Не хочешь?
Оставайся и зимуй,
и это
оскорбление
на общий счет нанижем.
Я все равно
тебя
когда-нибудь возьму —
одну
или вдвоем с Парижем.

1928

РАЗГОВОР С ТОВАРИЩЕМ ЛЕНИНЫМ

Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.
Рот открыт
в напряженной речи,
усов
щетинка
вздернулась ввысь,
в складках лба
зажата
человечья,
в огромный лоб
огромная мысль.
Должно быть,
под ним
проходят тысячи...
Лес флагов...
рук трава...
Я встал со стула,
радостью высвечен,
хочется —
идти,
приветствовать,
рапортовать!
«Товарищ Ленин,
я вам докладываю
не по службе,
а по душе.
Товарищ Ленин,
работа адовая
будет
сделана
и делается уже.
Освещаем,
одеваем нищь и о́голь,

ширится
добыча
угля и руды...
А рядом с этим,
конешно,
много,
много
разной
дряни и ерунды.
Устаешь
отбиваться и отгрызаться.
Многие
без вас
отбились от рук.
Очень
миого
разных мерзавцев
ходят
по нашей земле
и вокруг.
Нету
им
ни числа,
ии клички,
целая
лента типов
тянется.
Кулаки
и волокитчики,
подхалимы,
сектанты
и пьяиицы,—
ходят,
гордо
выпятив груди,
в ручках сплошь
и в зиачках иагрудных...
Мы их
всех,
коиешио, скрутим,
ио всех
скрутить
ужасио трудно.
Товарищ Ленин,
по фабрикам дымным,

по землям,
покрытым
и снегом
и жнивьём,
вашим,
товарищ,
сердцем
и именем
думаем,
дышим,
боремся
и живем!..»

Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.

1929

РАССКАЗ ХРЕНОВА О КУЗНЕЦКСТРОЕ И О ЛЮДЯХ КУЗНЕЦКА

К этому месту будет подвезено в пятилетку 1 000 000 вагонов строительных материалов. Здесь будет гигант металлургии, угольный гигант и город в сотни тысяч людей.

Из разговора

По небу
тучи бегают,
дождями
сумрак сжат,
под старою
телегою
рабочие лежат.
И слышит
шепот гордый
вода
и под
и над:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»
Темно свинцовоночие,
и дождик
толст, как жгут,
сидят
в грязи
рабочие,
сидят,
лучину жгут.
Сливеют
губы
с холода,
но губы
шепчут в лад:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»

Свела
промозглость
корчею —
неважный
мокр
уют,
сидят
впотьмах
рабочие,
подмокший
хлеб
жуют.
Но шепот
громче голода —
он кроет
капель
спад:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!
Здесь
взрывы закудахтают
в разгон
медвежьих банд,
и взроет
недра
шахтою
стоугольный «Гигант».
Здесь
встанут
стройки
стенами.
Гудками,
пар,
сипи́.
Мы
в сотню солнц
мартенами
воспламеним
Сибирь.
Здесь дом
дадут
хороший нам

и ситный
без пайка,
аж за Байкал
отброшенная
попятится тайга».
Рос
шепоток рабочего
над темью
тучных стад,
а дальше
неразборчиво,
лишь слышно —
«город-сад».
Я знаю —
город
будет,
я знаю —
саду
цвесть,
когда
такие люди
в стране
в советской
есть!

1929

●

ПРИМЕЧАНИЯ

Стихи о советском паспорте (стр. 7). *С двухспальным английским левою.* — Имеется в виду государственный герб Великобритании, на котором изображены лев и единорог, символы Англии и Шотландии. *Что это за географические новости?* — На протяжении XIX и начала XX вв. Польша не существовала как самостоятельное государство. *Дубликат* — второй экземпляр какого-либо документа, имеющий равную с ним силу.

Левый марш (стр. 10). — Стихотворение переведено на многие иностранные языки как яркий образец советской поэзии первых лет революции. Написано для выступления 17 декабря 1918 г. в Петрограде в Матросском театре, чем и объясняется подзаголовок «Матросам». *Лёевой* — творительный падеж от «лёева» (неологизм от слова «лить»); стальная леева — поток пуль, снарядов.

Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче (стр. 12). — Летом 1920 г. Маяковский жил в дачной местности Пушкино под Москвой. *Сиди, рисуй плакаты!* — В то время Маяковский вел большую работу в Роста (Российское телеграфное агентство) над текстами и рисунками для агитплакатов («Окна» Роста). *Ясь* — неологизм от слова «ясность». *Сонница* — неологизм от слова «сон».

О дряни (стр. 16). *Тариф* — здесь: ставка, зарплата. *Галифища* — от «галифе», брюк особого покроя, широких в бедрах и обтянутых у колен. *Реввоенсовет* — коллегиальный орган высшей военной власти в СССР в 1918—1934 гг.

Прозаседавшиеся (стр. 18). — Стихотворение привлекло к себе внимание В. И. Ленина. В докладе «О международном и внутреннем положении Советской республики» на заседании коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов 6 марта 1922 г. Ленин сказал: «Вчера я случайно прочитал в «Известиях» стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно» (В. И. Ленин. Полное собр. соч., т. 45, стр. 13). *Кто в глав, кто в ком, кто в полит, кто в просвет* — сокращенное название одного учреждения: Главного политикопросветительного комитета Наркомпроса РСФСР, где Маяковский выпускал агитационные плакаты (продолжение «Окон» Роста). *Со времени óна* — то есть с незапамятных времен (церковнославянское выражение «во время óна»). *Объединение Тео и Гукона* — нарочитая нелепость: *Тео* — театральный отдел Главполитпросвета при Наркомпросе, *Гукон* — главное управление коннозаводства при Народном комиссариате земледелия.

Владикавказ — Тифлис (стр. 20). — Стихотворение связано с поездкой Маяковского летом 1924 г. по Крыму и Кавказу: Севастополь — Ялта —

Новороссийск — Владикавказ — Тифлис. *Я вспомнил, что я — грузин...*— Маяковский родился и провел детские годы в Грузии. *Архалух* — легкий кафтан, собранный в талии. *Карабах* — верховая лошадь, выведенная в нагорном Карабахе. *Ройльс* («роллс-ройс») — модная в 20-е годы марка автомобиля. *Муша* (груз.) — рабочий, грузчик. *Ираклии, Нины, Давиды* — имена царей и цариц средневековой Грузии. *Золотопогонник* — презрительное название офицера царской армии; Маяковский имеет в виду военные действия царских войск против местных горских племен. *Лишь тебе одной все, что дано мне с высоты богом* — слова песни грузинского писателя Шалвы Дадиани (1874—1959). *Арсен* — Арсен Джорджиашвили (1881—1906), грузинский революционер, убивший в январе 1906 г. царского карателя генерала Грязнова и казненный по приговору военно-полевого суда. *Алиханов-Аварский М.* (1846—1907) — генерал-губернатор Кутаисской губернии в 1905 г., убит в июле 1907 г. в Александрополе (ныне Ленинакан). В автобиографии «Я сам» Маяковский называет его «усмирителем Грузии». *Какие-то люди, мутней, чем Кура...*— имеются в виду грузинские меньшевики, которые в годы гражданской войны вступили в сговор с французскими и английскими империалистами. В феврале 1921 г. меньшевистское правительство Грузии было свергнуто и провозглашена Грузинская Советская Социалистическая Республика. *Мадчари* (груз.) — неперебродившее молодое вино. *Эдем* — по библейской легенде, земной рай. *Кинто* (груз.) — бродячий торговец, балагур. *Зурна* — восточный народный музыкальный инструмент. *Шаири* — форма классического грузинского стиха, которым написана поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» (XII в.).

Бродвей (стр. 26). *Бродвей* — одна из главных улиц Нью-Йорка, на которой расположены конторы крупных торговых фирм и финансовых учреждений, театры, отели, рестораны. *Чуингам* (англ.) — жевательная резинка. *«Мек мóней?»* — «Делаешь деньги?» — вместо привета (примечание Маяковского). *Собвей* — американское название метро. *Элевейтер* — надземная железная дорога на эстакаде. *Гудзон* — река, в устье которой расположен Нью-Йорк. *«Кофе Максвèл гуд ту ди ласт дроп»* — реклама кофе: «Кофе Максвел хорош до последней капли». *Гау ду ю ду!* — привет при встрече (примечание Маяковского).

Бруклинский мост (стр. 29).— Построенный в 1867—1884 гг. Бруклинский мост через Ист-Ривер соединяет два района Нью-Йорка: Манхаттан и Бруклин. В те годы это был один из крупнейших подвесных мостов мира (длина около 2 км). *Разъюнайтед стетс оф Америка* — комическое усиление слов «Юнайтед стейтс оф Америка» (Соединенные Штаты Америки). *Скит* — жилище монаха-отшельника, уединенная обитель. *Мерещь* — неологизм от глагола «мерещиться», вечерний сумрак, придающий предметам фантастические очертания. *Пустив по ветру индейские перья.*— Имеет в виду истребление европейскими колонизаторами индейских племен Северной Америки, остатки которых были загнаны в резервации США и Канады.

Домой! (стр. 33).— Начато по пути из Нью-Йорка во Францию на пароходе «Рошамбо» и закончено в Москве. Конец стихотворения связан с отчетным докладом ЦК ВКП(б) на XIV съезде, наметившим курс на индустриализацию страны (поэтому у Маяковского «с чугуном чтоб и с выделкой стали»). Генеральный секретарь партии И. В. Сталин выступил с отчетным докладом 18 декабря 1925 г., а на следующий день Маяковский прочитал стихотворение «Домой!» (под заглавием «Маркита») на вечере в Политехническом музее. *Сверхставками спеца.*— В 20-е годы спецами называли людей, обладавших специальными познаниями в какой-либо области науки или техники и потому получавших за свою работу повышенную зарплату («сверхставки»). *Выше довоенной нормы* — выше уровня 1913 г., последнего года перед первой мировой войной.

Товарищу Нетте — пароходу и человеку (стр. 36). *Нетте* Теодор Иванович (1896—1926) — член партии большевиков с 1914 г., участник

граждаиской войны, затем политработник. Погиб 5 февраля 1926 г. в поезде, следовавшем через латвийскую территорию в Берлин, куда он вез дипломатическую почту. *Якобсон* Роман Осипович (р. 1896) — языковед, один из основоположников структурализма. В составе постпредства РСФСР в 1921 г. выехал в Прагу, в СССР не вернулся.

Нашему юношеству (стр. 39). *Позумент* — шитая золотом или серебром тесьма; здесь: украшение шапки кубанских казаков. *Головы сахара высят хребты.*— Сахар раньше продавался, «головами» в виде конуса, обернутого снизу в синюю бумагу. Снеговые вершины похожи на «головы сахара». *Нэ чую* (укр.) — не слышу. *Бодлер* Шарль (1821—1867) — французский поэт, предшественник декадентства. *Маларме* (Малларме) Стефан (1842—1898) — французский поэт-символист. *Бульвардье* — завсегдатай бульваров, праздношатающийся. *Шоры* — боковые наглазники для лошадей, не позволяющие глядеть по сторонам; в переносном смысле — ограниченность. *Сечевик* — казак Запорожской Сечи, военной организации украинского казачества за Днепровскими порогами в XVI—XVIII вв.

Казань (стр. 43).— Стихотворение написано по впечатлениям поездки в Казань (1928). 23 января к Маяковскому пришли молодые поэты. Устроитель вечеров поэта П. И. Лавут вспоминает: «В номер старинного «Казанского подворья» началось настоящее паломничество. Журналистов и студентов сменили местные и приезжие поэты. Совсем молодой парень вышел и после долгих робких предисловий прочел «Левый марш» по-чувашски. У Маяковского в руках чья-то тетрадь стихов. Снова раздается «Левый марш», на этот раз по-татарски. Маяковский одинаково приветлив со всеми, выслушивает всех, отвечает всем. В третий раз «Левый марш» уже по-марийски. А кругом все время — новые и новые люди, все хотят видеть Маяковского, все хотят узнать его мнение о своих стихах, о литературе, о быте, о газетной работе». *«Шурум... бурум...»* — возглас старьевщиков, ходивших по дворам; этим занятием промышляли в основном казанские татары.

Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру (стр. 45).— Написано в результате пребывания Маяковского в Свердловске в январе 1928 г. Один из журналистов вспоминает, что «рабочие Верхне-Исетского завода переезжали из маленьких екатеринбургских хибарок в новые просторные и светлые квартиры. Маяковский не прошел мимо этого простого и будничного факта. Он побывал в квартирах рабочих, беседовал с ними».

Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви (стр. 48). *Костров* Тарас (псевдоним Александра Сергеевича Мартыновского, 1901—1930) — редактор газеты «Комсомольская правда». В 1928 г. был также редактором журнала «Молодая гвардия», где впервые напечатано это стихотворение.

Письмо Татьяне Яковлевой (стр. 52). *Яковлева* Татьяна Алексеевна (р. 1906).— Маяковский познакомился с ней осенью 1928 г. в Париже, куда она выехала в 1925 г. по вызову своего родственника художника А. Е. Яковлева, и около года с ней переписывался.

Разговор с товарищем Лениным (стр. 55).— Написано к пятой годовщине со дня смерти В. И. Ленина. *Нищь и голь* — собирательные существительные от слов «нищий», «голый».

Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка (стр. 58).— Партийный работник Сибири Ульян Петрович *Хренов* рассказал Маяковскому о строительстве Кузнецкого металлургического комбината, одного из крупнейших предприятий черной металлургии СССР, детища первой пятилетки. *Сливеют* — неологизм: от холода становятся синими, как слива.

СОДЕРЖАНИЕ

Д л я с р е д н е й ш к о л ы

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ

Я — ГРАЖДАНИН СОВЕТСКОГО СОЮЗА

С т и х и

ИБ № 4771

Отаатстаенный редактор *Н. М. Кожемякина.* Художестаенный редактор *И. Г. Найдёнова.* Технический редантор *И. П. Савенкова.* Корракторы *Э. Л. Лофенфельд* и *Е. И. Щербакоеа.* Сдано а набор 11.11.80. Подписано к печати 12.06.61. Формат 60×90¹/₁₆. Вум. типогр. № 2. Шрифт школьный. Печать аысокая. Усл. печ. л. 4. Усл. кр.-отт. 4,5. Уч.-изд. л. 3,54. Тираж 3 000 000 (1 500 001—2 250 000) экз. Заказ № 2576. Цена 10 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательстао «Детская литература» Государстаенного комитета РСФСР по делам издатальста, полиграфии и книжной торгоали. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудоаого Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглааполиграфпрома Государстаенного номитата РСФСР по делам издательста, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущавский аал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»




10 коп.